

## ДИСКУРС: К 70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АЛЕКСЕЯ ПРАСОЛОВА

---

О. А. Разводова

### ТРАГЕДИЯ И ПОДВИГ АЛЕКСЕЯ ПРАСОЛОВА

Современному россиянину трудно представить тягучий бескислородный воздух конца сороковых — начала пятидесятых годов XX в. в СССР, долгое время бывшим псевдонимом России. Последнее десятилетие жизни Сталина знаменательно окостенением, вслед за склеротизацией организма вождя, всей творческой жизни социума, как бы затвердевшего, за исключением нескольких наиболее живых персон. Рамки дозволенного обозначены как никогда отчетливо... Шаг вправо или влево считается побегом... Представление о чем-то вне обозначенных ЦК координат рассматривается как преступление против социализма. Само слово «смерть», употребленное в печати, выглядит покушением на партию и вождя... Журналы и периодику тех лет сегодня крайне трудно читать: однообразие и скука, серость и пустота доминируют, перекрывая редкие энергичные звуки. В подобной атмосфере чрезвычайно трудно найти свое место в поэзии, открыть свою тему, не обезличиться, тем более что общее падение культуры в стране не могло не сказаться на качестве мышления, на глубине понимания и освоения действительности. Темы лирики настолько сузились, особенно после приснопамятного постановления об Анне Ахматовой, что писать лирические стихи поэту можно было только в стол — или рифмовать, подражая тому, что печатается в «Правде»:

Расти, мой сын, и будь таким, как Сталин...

То небольшое живое, что как-то пробивалось из-под этого катка, в основном тоже проходило дозволенным коридором: относительная честность допускалась в литературе о войне. Именно здесь прорывались к правде, именно эта тема собрала вокруг себя знакомые нам имена С. Гудзенко, А. Межирова, С. Орлова, В. Некрасова... Однако и в литературе о войне, созданной бывшими солдатами и лейтенантами существовали жесткие ограничения, прежде всего — на философское осмысление событий,

на рассказ о войне как о всенародной трагедии. На этом фоне кажется чудом появление «Дома у дороги» Твардовского другим чудом видится, как в 1952 г. провинциальный мальчик из-под Воронежа пишет в своей тетради:

Пройду по памятным могилам,  
И снова здесь, наедине  
Предстанет мир живым и милым -  
Открытым мне.

И смерть провозгласит рожденье,  
И слово с миром — наравне,  
И словно молния — мгновенье,  
Понятное и вам и мне.

И ночи нет, и светлой дрожью —  
Поток знакомого огня,  
И вот стою я у подножья  
Едва угаданного дня.

И взгляд мой луч высокий ловит —  
Свою наследственную нить:  
дай бог вам стать у изголовья,  
Чтоб для рожденья — схоронить.

Здесь все не так, здесь все иначе, чем в любом доступном ему печатном издании. Тут все свое, а главное — здесь человек не просто задумался. Он уже нечто осмыслил, он уже сделал собственные выводы, У него незаемный взгляд на мир вокруг и на себя в этом мире. Он уже поэт, ни на кого не похожий — ни темой, ни интонацией, ни лексикой. Мужественная и светлая интонация в сочетании со словом «могила» (во множественном числе!) не коробит, она убедительна, и существительное «смерть» не может и не хочет ее победить, потому что человек здесь молод, полон сил и видит перед собой перспективу быть завязанным на весь раскрытый и развернутый к нему мир. Энергия веры в свое предназначение ничем не напоминает пафос комсомольской, к примеру, поэзии, у них принципиально разные основы. Прасоловское чувство будущего тут не идеологическое, а провиденциальное. И здесь, как в зерне, весь последующий Прасолов: характерное для него сочетание крайностей, контрастность, философская насыщенность, опора на общечеловеческие и национальные ценности, полное отсутствие оглядки на «социальный заказ», т.е. свобода от догм и шор «советскости». Невероятное «дай бог» в последних ударных строчках вводит нас в мир народных и даже религиозных представлений о един –

стве всего сущего и бессмертия души. Человек Прасолова ощущает свою душу такой же бездонной, как и высота над его головой.

А ведь рядом с такими стихами тут же, может быть, даже в одной тетради, можно прочитать строчки, которые, на первый взгляд, содержат весь классический набор «советской» поэзии: здесь и солдаты, которые в письмах домой прежде всего интересуются, как пахут их трактора, здоровы ли племенные кони, растут ли посаженные леса. Именно поэтому выражается уверенность:

Да, знает мать: коль битва снова грянет  
Ее сыны, поднявшись во весь рост,  
Не отдадут врагам на поле брани  
Родных полей и вечный свет берез!

Отметим, как бодро здесь говорится о войне в восприятии *матери*, чьи сыновья наверняка помнят голодное военное детство, да и обращаются в письмах только к матери, чье вдовье одиночество подтверждается в стихотворении «Давно уж ночь... А матери не спится» каждой деталью. Тут и продекларированное основное внимание поэта к людям труда — обязательно праздничным! («И там, где труд и слышны песен звуки, // Я нахожу истоки новых чувств»), и кровавая история родины в XX в., но с упором на верность революции (стихотворение «Ночью в сельсовете»). Думается, на уровне сознания, осмысления современности и своего места в ней Прасолов не опережал свое время, был близок по пониманию этих вещей к тем, кого сегодня называют шестидесятниками, особенно к тем, кто видел своим идеалом «подлинного Ленина» (см. стихотворение «И вот настал он, час мой вещей», 1967 г., где пролетарский вождь — принципиальный оппонент застоявшейся действительности, мера Правды, Свободы, добра, которою сличают «свое сегодня и вчера», те. взыскуют истины. О том свидетельствуют и «Горки Ленинские», написанные в 1968 г.). Однако уже в ранней, временами просто трафаретной, лирике прорываются иные, видимо, подсознательные представления. То, что было традиционным воспеванием социалистического труда, с годами трансформируется у Прасолова в преклонение перед мощью созидания как такового, творчество станет для поэта родовым признаком человека. Процесс роста личности в ранней лирике видится бурным, и бодренькие строчки («Запоем же звонче!! Про цветущий май...») все чаще соседствуют со стихами, устремленными в глубь явлений:

Я слышал, женщины сильны,  
Непостижимой властью древней.  
В ней зреют сумрак глубины  
И трепет солнечного гребня.

Не знаю, может быть, и так...  
Я только выстраданно верю:  
Счастливый свет и горький мрак  
Слепят влюбленных в равной мере.  
*«давно я не был здесь, давно..»*

В ранних стихах особо выделяются именно эти две темы: труд и любовь. Труд вызывает у Прасолова однозначно возвышенную реакцию, и эта доминанта останется навсегда. Но сами по себе картины труда все реже и реже возникают с годами, вытесненные проблемами, мыслью, трагическим мироощущением. Любовь тоже не главная тема зрелого Прасолова, но уже на раннем этапе своего творчества он проявит существеннейшее в своем представлении о женщине и ее любви: здесь доминирует духовное, а телесное почти пугает, ибо противоречит человеческому, оно должно преодолеваться духовным. Уже в тридцать три года поэт обращается к себе шестнадцатилетнему в момент Встречи с животным в человеке:

Я видел первый раз перед собой  
Вот эту, не подвластную эпохам,  
Покрытую сиреневой листвой  
Зверино торжествующую похоть.  
*«далекый день, нам по шестнадцать лет»*

Расчеловеченному похотью, недушевленному, отданному голой физиологии экстазу зрелый мужчина по-прежнему, как в юности, противопоставляет романтическое понимание высоты надмирной юношеской невинности:

Ты шла вдали. Кивали тополя.  
И в резких тенях, вычерченных ими,  
Казалась слишком грязною земля  
Под туфельками белыми твоими...

Но на земле предельно чистотой  
Ты искупала пошлость человечью,—  
И я с тугой охапкою цветов  
Отчаянно шагнул тебе навстречу.

Преобладание духовного над физическим — основное требование Прасолова к любви, к поэзии и к жизни. Именно поэтому любовь как явление, одновременно тяготеющее и кверху, и

к низу, при всем понимании Прасоловым окрыленности человека любящего, не становится главной или почти главной темой. Выше уже цитировались строчки, написанные в 50-е гг., о том, что влюбленных равно слепят счастливый свет и горький мрак. Любовь для Прасолова — не открытие человеком новых для него ценностей, не возвышение над обыденным. Она имеет оправдание одним: девушка становится матерью, а мать в художественном мире Прасолова — хранительница нравственности, дарящая тепло бескорыстной любви (см. стихотворение «Ладоней темные морщины...»). Любовь для поэта скорее одно из высоких проявлений души, но оно есть и препона, Любовь опасна отвлечением от творчества, именно творческого порыва не видит поэт в земной плотской любви, потому что поэтическое творчество — чистая духовность:

Уходи. Я с ней один побуду.

Таков выбор: муза выше и важнее любви, и есть в жизни нечто, что важнее самой жизни. Муза — *иная женщина*, ей ближе женственность органа по имени «душа». Это слово — излюбленное в лирике Прасолова. Парой ему можно обозначить не названное, но не менее значимое понятие «идеал». Душа, ее жизнь, их с действительностью взаимоотношения, идеал и его неуместимость в земное — вот оселок, вокруг которого вращается мысль Прасолова, та первооснова, что сделала его поэтом не для себя, а для людей.

Алексей Прасолов соизмеряет жизнь и человека с масштабным идеалом. На первый взгляд он кажется дисгармоничным. Мир Прасолова не знает плавных линий, нежных мелодий, здесь углы и грани. Этот мир немногочетен, резок в звучании, в жесте. В глаза бросаются «многоугольность», сильный момент отрицания. В стихах нас достают гром и скрежет повседневности. Однако интонация поэта не жестка. Она выявляет — первоначально — юношеский страх выглядеть романтически возвышенным. Следом возникает понимание трагического несовпадения идеала и действительности. Однако это несовпадение не сделало личность маленькой, раздавленной слякотью. Прасоловская интонация — мужественный минор. Во многом он близок европейским экзистенциалистам: человек должен выстоять, даже если рушится мир. Прасолов — один из тех поэтов сугубо XX в., которые, погружившись в явленную временем сложность мира, говорят как бы косноязычно от желания воспроизвести в собственной речи этот искореженный мир во всей его как будто бы безнадежно-

ти, уродующей внешнее и внутреннее бытие человека. Поэт ощущает себя голосом поколения, многострадального, многожды обманутого, мечущегося от одного разочарования к другому. Оно как бы не имеет внутренней опоры — и напряженно ищет ее, не будучи уже верующим в коммунизм, но и не обретя иной Веры, без которой не может жить ни человек, ни поколение, ни народ. Символично, что в тридцать три года Прасолов напишет то стихотворение, которым чаще всего открывают его сборники:

Итак, с рождения вошло —  
Мир в ощущении расколот:  
От тела матери — тепло,  
От рук отца — бездомный холод.

Кричу, не помнящий себя,  
Меж двух начал, сурово слитых.  
Что ж, разворачивай, судьба,  
Новорожденной жизни свиток.

И прежде всех земных забот  
Ты выставь письма косые  
Своей рукой корявой — год  
И имя родины — Россия.

Перед нами обобщенный образ поколения, не отделенного от родины, а разделяющего с ней ее трагическую судьбу. Но стихотворение названо: «Пролог». Это имеет особый смысл для самого Прасолова, достигшего возраста Христа. Тут просматривается распятие, видны знаменитые евангельские сюжеты — как у Ахматовой: «Отцу сказал: «Почто меня оставил?» // А матери: «О не рыдай мене». Потаенное чувство призванности прорывается здесь, как и жертвенность, готовность к гибели, но не к отречению от себя. Здесь — своеобразный вызов: «Что ж, разворачивай, судьба...». Прасолов — поэт мужества. Он принимал эту жизнь, стремясь встать вровень со всеми ее важнейшими, как казалось в начале пути, ценностями. Одновременно он принял на себя высокий подвиг: прасоловский человек хочет быть равным миру, хочет вписаться не в четыре стены, а во Вселенную, заполнить собой пространство от земли до неба, быть всем и во всем. Так только можно гармонизировать мир, соединив собой его крайности, его острейшие грани. для молодого Прасолова органичен призыв: «И между радостью и болью // Сожги придуманную грань». У него были основания надеяться на могучего выпрямившегося человека, ведь жизнь на рубеже 50—60-х гг. предполагала изменения. Прасолов откликнулся на

призыв. Он передает в стихах свое ощущение огромности творческих сил человека, его взгляд направлен вверх и вдаль, а ведь чувство пути и пространства — знак движения, развития, веры в будущее. Тем более, что творческое в человеке видится поэту не придатком к идеологии, не ее порождением, а всемирным проявлением первоосновы бытия. Вот почему гордые горы — «грандиозный слепок того, что в нас не улеглось». Более того, духовное у Прасолова первично, в основе мира — человеческая душа, мысль, сердце. Здесь корень человеческой свободы — и человек у Прасолова *свободен всегда, но и всегда несвободен*. Не-свободен он потому, что «мирозданье сжато берегами», и человек ощущает это физически. Жизнь давит на человека, своеобразного Атланта, который с трудом несет свое бремя. Но это норма, так устроена Вселенная, «тяжесть человеческих веков» должна выноситься смиренно, ибо только в такой сжатии человек может быть могуч. Потому что душа его свободна всегда.

Со временем могучесть не покинула прасоловского человека, но обещание «могучести», перспектива осуществиться ушли из социума. Одна из главных составляющих прасоловского идеала — мощь творческого созидания личности, равновеликой творящемуся миру природы, — оказалась ложным манком, пустым обещанием. Не следует видеть здесь лишь отклик на социальную драму начала эпохи застоя. Поэт мыслит объемнее, его выводы масштабнее. Он говорит о всемирном поражении человечества. Жить по высшему счету в сжатом мироздании человеку труднее, чем раствориться в мелочи бытовых интересов, в звоне карманного металла, да, душа человеческая всегда жаждет чуда, чтобы вспыхнуть почти фоворским светом, но, встречая отблеск чуда, человек оказывается не готовым к нему, бытовым до мозга костей. В стихотворении «Уже заря пошла на убыль...» мы слышны пасхальное пение, дающее надежду на второе пришествие Христа, на прощение грехов, на воскресение мертвых и жизнь вечную. Казалось, что кто-то светоносный (Прасолов осторожно обходит цензурный запрет на имя Иисуса Христа) ответит с высоты сонмищу людей на их извечные вопросы, скажет о конечной цели и назначении пути. Но...

...замелькали шапки, шали,  
Карманный зазвенел металл...

Не высшая сила отказалась отвечать — человек не хочет слышать. Второго пришествия не ждут на Земле:

Нет, никого они не ждали  
И осыпали б тех, кто ждал.

Человек капитулирует, добровольно отказываясь от высоты, т.е. от самовыражения, от величия. Не обстоятельства, а всегда свободный человек свободно разрушает данный ему идеал — и расчеловечивается: «они — бескрылые для неба и тягостные для земли». Прасолов трагически воспринимает разрушение идеала, нежелание и неспособность человека быть Человеком. Бытовой человек унижает мир. Торжество слабости, сила этой слабости вызывают отвращение к жизни. Не к Богу адресует поэт инвективы, но к человеку. Правда, резкие обвинения проявят себя лишь однажды, а потом поэт от них откажется по очень существенной причине.

Нам важно, что высшее у Прасолова всегда связано не только с высотой, небом но и с музыкой. Поэт нигде не оговаривает, что музыка создана человеком, Видимо, она создается через человека и даже существует независимо от него. Но как раз диалог, контакт человека с музыкой раскрывают нечто подлинное. Интересно проследить, как меняется Прасолов в двух очень похожих стихотворениях — «Среди цементной пыли душной...» 1963 г. и «Они метались на кроватях...» 1966-го. В первом он лишь проторил путь, а к итогу пришел во втором. И там и там одна ситуация: в гущу людей вливается мелодия. Будничную душу настигает минута высшей красоты, восторженной высоты. В первом стихотворении человек осознает себя соотнесенным с вечностью и высотой:

Быть может, там твоя стихия?  
Быть может, там отыщешь ты  
Почувствованное впервые  
Пристанище твоей мечты?

Общение с Абсолютом перерождает человека для его земных трудов:

И землю заново открыл я,  
Когда затих последний звук.  
И ощутил не легкость крыльев,  
А силу загрубелых рук.

Загрубелые руки земного, слабого человека, понятые как высшее явление жизни людей плюс способность возвыситься, подвигнуть себя, свою душу на новый уровень — важное открытие Прасолова, по крайней мере для него самого, ибо должно привести к вере в человека, в возможность его нравственного возрождения после любого падения. Собственно, этому учит праславие, но поколению Прасолова приходилось самому на-



бредать на эти мысли в безбрежном тумане идеологических штампов, не имея возможности прочитать не только Библию или религиозную философию, но и Достоевского. Тем не менее он становится очень близок В. В. Розанову, писавшему, что сущность греха такова, что она предполагает возрождение.

Зрение поэта как бы обновилось,новились и его представления о подлинном в человеке. Во втором стихотворении он вводит читателя в лечебницу для алкоголиков и первым в советской литературе называет причину их болезни: «проклятая, больная, смешенная безумьем жизнь». Он ощущает свое родство с каждым здесь, потому что о себе сказал так: «Я болен тем, что я живу». Прасолов отказывается обвинять, отказывается требовать от человека непосильного подвига. Есть жизнь, она одинаково корежит всех — и праведников, и грешников, а взвешивать на весах грехи и давать им оценку поэт отказывается, достигал высшего — милосердия. Явление музыки сюда, где буйствуют и Кричат, вносит кротость, желание лада. Больной и скорбный взгляд измученного человека обретает выражение смысла. В этом мире, низко лежащим под небом, не может быть гармонии изначально. Гармония возможна только там, наверху, за жизнью или после жизни. Надо отдаться зову высоты, зову, если угодно, смерти — но для подлинного слияния с гармонией. Недаром музыка услышана как призыв:

Здесь высоко, светло и стройно,  
Иди за мною — и взойдешь.

Через страдание, через свою Голгофу проходит каждый на земле, чтобы *там*, обновиться.

Поэт вышел к тому идеалу, о котором так много говорил Достоевский, одной из заключительных фраз к жизненно важному роману о революции и обществе выбравший такую: «Их воскресила любовь». Бунт и кровь в мире Прасолова окончательно и бесповоротно отринуты, его герои в стихотворении «Они метались на кроватях» проливают слезы над собой и миром, правильно восприняв завет, исходящий из высших сфер: «Взгляни устало, но спокойно...» И именно эти слезы и объединяют людей разной доли общим чувством:

Девичье-тонкий в перехвате,  
Овеяв лица ветерком,  
Белея, уходил халатик  
И утирался рукавом.

Это плачет медсестра в той самой клинике для алкоголиков —

вместе с виновными и невиновными в своей болезни пациентами... думается, в данном стихотворении отразились и Глубокие размышления Прасолова о вере, о Христе, о правде и истине. Потому что идеал, выстраданный Прасоловым, исключительно своеобразен на общем фоне поэзии тех лет, сближаясь лишь с таковым у Рубцова и в особенности у Жигулина. Всех их научила радости и любви война, а Жигулина — еще и каторга. Чудовищная правда войны раскрыта наиболее откровенно именно Прасоловым. Возможно, он осознал необходимость, неизбежность мук, размышляя о своем военном детстве. Прасоловский идеал сформировался тогда, когда его глаза увидели не просто войну, а ее самую страшную сторону: искромсанные тела, абсолютное страдание:

До жути короткое тело  
С тупыми обрубками рук  
Глядит из бинтов онемело  
На детский глазастый испуг.  
*«Тревога военного лета...»*

В тот момент истины душа познала нечто подлинное, что позже выскажет поэзия:

Забудь про Светлова с Багрицким,  
Постигнув значенье креста.  
Романтику боя и риска  
В себе задуши навсегда.

Человек, услышавший жестокие глаголы войны, навсегда отрывается от крови, от бунта, от любой романтизации силового решения проблем. Более того, этот человек уже никогда не поверит в чей-то клич, не бросится без раздумья на громкий призыв даже к самым заветным целям:

Те дни, как заветы, в нас живы.  
И строгой не тронут души  
Ни правды крикливой надрывы,  
Ни пыл барабанящей лжи.

Прасолов одним из первых в поколении детей войны так резко и непримиримо говорит о ней, невзирая на всю ее освященную справедливость. Но его выводы обширнее локальных событий и имеют общефилософское значение. Поэт понял ограниченность правды и увидел, что его место рядом с истиной, а «истинное — это целое» (Гегель). Здесь целое прочитывается как Абсолют и видно, как не случайно выбирал автор слова. Библейское «заветы» заставляет глубже вникнуть во фразу «Постиг -

нув значенье креста». Красный крест преобразается в крест христианский, собственно, от него он и ведет свое начало.

Итак, Прасолов — поэт мира гармонии, построенного на христианских устоях, на сочувствии, милосердии, любви. Но в сжатом и перевернутом не законами Вселенной, а самими людьми ложном социуме отсутствует возможность прожить жизнь, не замарав души. С течением времени поэт все трагичнее смотрит вокруг, ощущая тесноту. Эта теснота пытается сдавить его окончательно, растворить в себе, подчинить и сделать бытовым человеком без идеала. Не преступником, не подлецом даже, только от живота действующим, — и этого Прасолов не выносит. Он не выносит того, что русская философия давно назвала всемирной пошлостью. Тема смерти уверенно входит в его поздние стихи, делая его неожиданно более лиричным, чем раньше. до сих пор ему мешала некая внутренняя закрытость, видимо, черта личности, сформировавшаяся в детстве. Поэту такая закрытость всегда мешает, сдерживая эмоции, не давая вспыхнуть и рассказать всему свету о своих болях и радостях. Распахнутый настезь, до сокровеннейших тайн Есенин из Прасолова не мог получиться никогда. И не только потому, что он поэт мысли, а в силу того, что в свои наиболее значимые зрелые стихи он вводит только факты из биографии своей души, крайне редко называя факты личной биографии. Из его стихов читатель далеко не сразу установит, что перед ним поэт из Воронежа работавший в школе и в редакциях газет, почти не встретит имен дорогих друзей и женщин... Но подойдя к пределу, оказавшись на грани жизни и смерти, Прасолов как будто освободился и заговорил с пронзительной лирической силой. Стихи переполнены образами осени, гибели, промежуточных — между живым и неживым — состояний. «Осень лето смятое хоронит», «И лесу точно нет и дела, // Что крайний ствол наперекос, // Обняв других, вершину клонит, // Как будто выпертая кость». Вот осенние листья: «Пестрят вокруг в холодном жженье // Во рву, на ветровом стекле, — // И, словно жизни продолженье, // Их маята по Всей земле». Стихотворение «Дымки» начинается строчкой с символическим подтекстом: «дорога все к небу да к небу.. .» Оно характерно своей интонацией совершенного выбора, здесь необратимость и неотвратимость:

Тревожно-багров этот вечер...  
И солнце таращится дико  
На поле, на лес, на села,  
И лик его словно бы криком  
Кривым на закате светло.

Из рупора голос недалний  
Как будто по жести скребет,  
Но, ровно струясь и не тая,  
Восходят дымки в небосвод.

С вершины им видится лучше,  
Какие там близятся дни,  
А все эти страхи — летучи  
И сгинут, как в небе, они.

И, конечно, нельзя не назвать самое совершенное стихотворение последних лет «Листа несорванного дрожь...». В нем столько смирения, столько щемящей нежности и жалости и себе, и к каждому:

Но все произойдет не вдруг:  
Еще — от трепета до тленья  
Он совершит прощальный круг  
Замедленно — как в удивленьи.

А дождик с четырех сторон  
Уже облег и лес и поле  
Так мягко, словно хочет он,  
Чтоб неизбежное — без боли.

Кажется, что Прасолов кричит людям о своем выборе. Возможно, как почти все люди, выбравшие такой конец жизненного пути, он ждал помощи. Подсознательно — хотел жить.

Характерно, что образы умирания, отхода подчеркнуты у Прасолова темой круга. С одной стороны, это символ вечности и повторяемости и может говорить о пессимистичности восприятия поэтом как своего времени, так и будущего; с другой стороны, круг — обозначение сужающегося жизненного пространства, ограничения его, что равносильно постепенному схождению в тесное пространство точки—могилы.

Наконец он высказался прямо:

Я умру на рассвете,  
В предназначенный час.

Так он заговорил накануне смерти. Интонация этого стихотворения уже надмирная, уже оттуда. Как предсмертная записка с объяснением причины: поэт посылает проклятие жизни, которая оказалась ненастоящей и в измененном мире людей иной быть не может (недаром в стихотворении Прасолов адресует свои объяснения не людям и даже не могилам, а цветам). У него появляется специфическое определение своего бытия в мире в дан-

ное время, позаимствованное из чуждого ему лексикона военных: окружение.

Окружение все туже,  
Но, душа, не страшись:  
Смерть живая — не ужас,  
Ужас — мёртвая жизнь.

Возникает сложная проблема: выше говорилось о православно-христианском понимании Прасоловым человека и его греховности, его же и заставляющей страдать. Но самоубийство, которое, не называя его прямо по имени, так сильно, как никто в нашей литературе, принял и освятил поэт, признается церковью одним из неискупимых грехов. Однако Прасолов понимает свою жизнь как один из вечно повторяющихся в мире смертных поединков поэтов с косностью и безжизнием людей. Тогда самоубийство не капитуляция, а гибель в сражении, как у бойца на подлинной войне, когда воин убивает себя, чтобы не попасть в позорный плен. Недаром стихотворение «Я умру на рассвете...» абсолютно однозначно и узнаваемо воспроизводит интонацию и размер «Я убит подо Ржевом...» Твардовского, где к живым обращается павший — лишь ситуация перевернута, ибо живым остается смертник, а мир человеческий охвачен трупным окоченением. Главная задача Прасоловым решена. Он не пустит в свою душу ледяной холод. Он не капитулирует. Он совершает подвиг, падая на амбразуру. И там ему должна открыться истина, ведь чем выше, тем лучше видится.